

18+

МЁРТВЫЕ ДУШИ ТОМ 2

Реконструкция по черновикам



Н.В. Гоголь

Продолжение Тимура Иоселиани

Тимур Иоселиани

**Мертвые души. Том
второй: Реконструкция
по черновикам Гоголя**

«Издательские решения»

Иоселиани Т.

Мертвые души. Том второй: Реконструкция по черновикам Гоголя
/ Т. Иоселиани — «Издательские решения»,

Есть идеи, которые кажутся хорошими ровно в ту минуту, когда засыпаешь. Не подумайте ничего плохого. Я написал продолжение «Мёртвых душ». Нет, я не Гоголь. Я просто человек, который очень любит эту книгу и однажды подумал: «А что там дальше?» Дальше — ничего. Гоголь сжёг второй том. Я взял черновики, воспоминания современников и попытался реконструировать. Без попыток «дописать за классика». Если вы закрывали первый том и думали «а что дальше?» — вы уже читатель этой книги.

© Иоселиани Т.

© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	8
Глава вторая	11
Глава третья	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Мертвые души

Том второй: Реконструкция по черновикам Гоголя

Тимур Иоселиани

© Тимур Иоселиани, 2026

ISBN 978-5-0070-8150-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Я давно хотел написать эти страницы и так же долго не решался к ним подступиться.

Слишком велико имя автора, слишком опасно само намерение продолжить книгу, которую многие считают не просто произведением, а частью русской души. Всякая попытка прикоснуться к «Мёртвым душам» заранее обречена вызвать недоверие, раздражение или усмешку — и, признаться, я вполне понимаю почему.

Я не литературовед и не человек, которому пришло бы в голову соперничать с Гоголем. Более того — сама мысль о подобном соперничестве кажется мне нелепой. Невозможно «дописать Гоголя». Невозможно воссоздать его голос, его внутренний огонь, ту странную смесь смеха, тоски, сатиры и жалости, которая жила в его прозе.

Всё, что может сделать другой человек, — попытаться представить, как могла бы продолжиться эта дорога.

Не восстановить утраченный второй том.

Не исправить Гоголя.

Не закончить за него.

А лишь предложить одну из возможных версий — литературную фантазию, вдохновлённую его замыслом, его героями и теми немногими фрагментами, которые дошли до нас.

Долгое время я не позволял себе даже начинать эту работу. Мне казалось, что подобная попытка неизбежно будет выглядеть самоуверенной. Но однажды я застал своего десятилетнего сына за чтением «Мёртвых душ». Он читал старое бумажное издание — ещё не по школьной обязанности, а с настоящим интересом. И вдруг спросил:

— А что там дальше?

В этом детском вопросе не было литературоведческого спора, академической осторожности или страха перед авторитетами. Было простое читательское любопытство — то самое, ради которого книги вообще продолжают жить спустя века.

Наверное, именно тогда я впервые подумал, что имею право попробовать.

Не как исследователь.

Не как продолжатель Гоголя.

А просто как читатель, который много лет любил эту книгу.

Я прекрасно понимаю, что у этой попытки будут критики — и, вероятно, их окажется больше, чем тех, кому она понравится. Это естественно. У каждого читателя существует свой внутренний Гоголь, и почти наверняка мой текст не совпадёт с этим представлением.

Но мне хотелось сохранить другое: само ощущение дороги, странности, человеческой комедии, тревоги и надежды, которое живёт в «Мёртвых душах».

Я старался бережно относиться к языку и интонации Гоголя, насколько это вообще возможно для человека другой эпохи. Где-то мне хотелось приблизиться к его ритму, к его длинной фразе, к его странной живой наблюдательности; где-то, напротив, приходилось сознательно отступать, чтобы текст не превращался в тяжёлую стилизацию ради самой стилизации.

Современный читатель живёт в ином темпе, слышит иначе и иначе воспринимает речь. Многие слова, бытовые подробности и денежные меры, которые были очевидны для человека XIX века, сегодня уже требуют пояснений. Да и сама привычка к медленному чтению постепенно становится редкостью.

Нынешний читатель, при всей своей образованности и удивительной способности мгновенно узнавать новости со всех концов света, подчас уже с трудом представляет себе, сколько было копеек в гривеннике и отчего чиновник мог прожить целый месяц на сумму, которой теперь не хватит даже на чашку кофе в московском буфете.

Поэтому я всё время искал компромисс между уважением к гоголевскому языку и желанием сохранить для читателя живое движение повествования. Мне хотелось не музейной реконструкции, а книги, которую всё ещё можно читать не по обязанности, а с интересом.

Эта книга публикуется бесплатно. Мне не хотелось превращать подобную попытку в коммерческий проект. Скорее это приглашение к разговору — о литературе, о героях Гоголя и о том, почему они до сих пор кажутся удивительно живыми.

Если же читатель после этих страниц снова откроет настоящего Гоголя — значит, всё было не напрасно.

Глава первая

В которой читатель знакомится с Андреем Ивановичем Тентетниковым, человеком, каких на Руси называют не то чтобы ленивыми, а скорее — заснувшими на ходу

Кто не знает, что лень бывает разная? Одна — от изобилия, когда не хочется вставать с дивана, потому что и так всё есть. Другая — от усталости, когда руки опускаются после трудов праведных. Но есть третья, самая горькая и самая русская, пожалуй: лень человека, который мог бы всё, да так и не начал. Про такого соседи говорят: «Хороший человек, да ни к чему не приставлен». А мужики про своего барина иногда меж собой, потихоньку, усмеваются: «Коптит небо».

Таким копителем и был Андрей Иванович Тентетников.

Наружности он был приятной: лицом свеж, волосом рус, глаза серые, но с той ленцой во взгляде, которая не от природы — от безделья. Росту среднего, сложения крепкого, и если б не привычка ходить вечно в халате да лежать после обеда часа по два, глядел бы совсем молодцом. Но халат, эта просторная одежда ленивых душ, обвивал его тело так плотно, словно врос в него намертво.

Тридцать три года — самый сок. В этой поре мужик, если он настоящий мужик, горы сворачивает. Женится, детей плодит, дом строит, в люди выбивается. А Тентетников? Проснётся в десятом часу, понежится в постели, покурит трубку — трубка у него была длинная, немецкая, с янтарным мундштуком, — потом позовёт камердинера Григория, человека тоже ленивого, но с хитрецей. Григорий подаст чай, сливки, белые сухарики. Чай Тентетников пил долго, глотка по три, и всё глядел в окно.

За окном было невесело. Дорога, которая шла мимо усадьбы, вечно разбитая. Осень — так грязь по колено. Зима — сугробы по самую крышу. Летом пыль столбом. Красота, одним словом, русская.

После чая — прогулка. Но не такая, как у других: накинуть сюртук, шапку нахлобучить — и в поле. Нет, прогулка у Тентетникова была комнатная: из гостиной в кабинет, из кабинета в библиотеку. Библиотека у него, к слову сказать, была отличная. Книги в кожаных переплётах с золотым тиснением стояли чинно, на полках, и ни одна не была тронута рукой хозяйской — так, кроме первой, которую он начал когда-то и бросил на пятьдесят седьмой странице.

Хозяйство? Не спрашивайте. Бурмистр, мужик бывалый, с хитрыми глазами и масленой речью, воровал, как умел. Управляющий, которого Тентетников выписал из города, оказался таков, что лучше б его и не выписывать: пил горькую и на доклады приходил с красным носом и слезой на глазу. Мужики, народ тёмный, привыкли, что барин в дела не входит, и делали, что хотели. Кто не работал — тот не работал, кто воровал — тот воровал.

А что же сам Андрей Иванович? Знал он про всё это? Знал. И сердце у него было доброе. Он даже порывался раза два всё исправить: собирал мужиков, говорил речи — мужики слушали, вздыхали, кланялись, а наутро всё шло по-старому. Потом он махнул рукой.

— Бог с вами, — сказал он. — Живите, как знаете.

Так и жили.

В молодости, надо сказать, Андрей Иванович совсем другим был. В пансионе — первый ученик. Профессора им нахвалиться не могли. Особенно один, седенький старичок, учитель словесности, говаривал: «Господа, запомните имя Тентетникова — оно ещё прогремит!» Прогремело, как видите. Только не так, как ожидалось.

Потом была служба в Петербурге. Начал он ревностно, с огоньком. Бумаги переписывал аккуратно, входящие и исходящие регистрировал, на выговоры отвечал почтительно. Но скоро заметил, что служба — это не про пользу отечеству. Это про то, чтобы сидеть тихо, начальству кланяться и не высовываться. А начальник у него попался — мелкий, придиричивый, в очках, с брызгами на губах, когда говорил. Делал выговоры за запятые. За почерк. За то, что Тентетников «слишком прямо смотрит».

Однажды этот начальник при всех, в присутствии посторонних, сказал ему: «Вы, милостивый государь, не на параде, можете расслабиться». И засмеялся. И другие засмеялись.

Тентетников покраснел, поклонился и на другой день подал в отставку.

— Не хочу, — сказал он сам себе, укладывая чемоданы. — Не хочу быть рабом у дураков. Уеду в деревню, заживу барином, хозяйство налажу, мужиков научу уму-разуму. Вот где настоящая польза.

И уехал.

С той поры прошло пять лет. Или шесть? Он и сам уже сбился со счёту.

Первое время, правда, кипел. Объезжал поля — в коляске, потому что верхом боялся. Заглядывал в овины — из овинов тянуло сыростью и мышами. Беседовал с мужиками — мужики снимали шапки, чесали затылки и обещали, что «всё будет, барин, как вы приказали». Ничего не было, конечно. А тут ещё соседи.

Соседи ему достались — нарочно не придумаешь. С одной стороны — полковник Кошкарёв, помещик образованный, но такой, что у него в имении были департаменты, канцелярия и комитет по выпасу скота. Вся деревня у него на манер министерства жила: чуть что — рапорт, резолюция, отношение. Коровы, говорят, у него от такой бюрократии похудели. С другой стороны — Пётр Петрович Петух, человек толстый, краснолицый, который только и знал, что есть. У него обед начинался в двенадцать и кончался в шесть вечера, а потом был ужин до полуночи. Хлебосольство неслыханное, но от одного вида его стола, ломившегося от блюд, Тентетникова мучило. С третьей стороны — Костанжогло, грек по происхождению, хозяин образцовый, мужик работающий до бешенства. Этот на всякого ленивого смотрел так, будто тот у него последний кусок хлеба отнял.

А дальше всех — генерал Бетрищев. Важный, тучный, с крестом на шее и с таким взглядом, будто он всю Россию на себе держит. Человек, в сущности, не злой, но гордый ужасно. Слово поперёк не скажи — обидится на месяц.

Тентетников, по глупости, сказал однажды при генерале, что французские агрономы пишут дельные книги. Генерал побагровел, фукнул, как самовар, и с тех пор видеть его не желал.

А жаль. Потому что у генерала была дочь. Улинька. Ульяна Михайловна.

Вот о ком, признаться, стоит сказать особо. Бывают такие создания, которые как луч солнца сквозь тучи пробиваются. Улинька была тоненькая, светленькая, с косицей русой и глазами, которые глядели прямо и смело. Не было в ней жеманства, той сентиментальной нежности, какую любят наделять барышень в романах. Она могла и верхом ездить, и книгу умную прочесть, и разговор поддержать о деле, а не о кружевах. И лицо у неё было такое — если бы в тёмной комнате вдруг осветили картину сзади лампой, и та бы не поразила так, как это живое, светящееся изнутри лицо.

Встретились они один раз в роще. Она гуляла с книгой — Шиллера, кажется, читала. Он раскланялся, она ответила — просто, без жеманства. Поговорили о том, о сём. А потом разошлись. И сердце у Тентетникова — да что там, душа вся перевернулась. Но гордость заела. «Как же я пойду к генералу, — думал он, — после того, как он на меня обиделся? Что я, попрошайка?» Откладывал день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем. А Улинька выходила замуж за какого-то гвардейца — так, по крайней мере, слухи ходили. Или не выходила? Тентетников не выяснял. Махнул рукой.

И вот так, в халате, у камина, с трубкой в зубах, и застал его тот осенний вечер.

Дождь лил как из ведра. Ветер завывал в трубе так жалобно, что хоть волком вой. Тентетников сидел, смотрел на потухающие угли и думал свои невесёлые думы. А думы были всё те же: «Почему так вышло? Где я ошибся? Что я сделал не так?» И сам себе отвечал, и сам с собою спорил, и снова путался в мыслях, как в осенней грязи.

Вдруг за воротами — стук. Не просто стук, а такой уверенный, хозяйский, будто кто-то знал, что его здесь давно ждут. Собаки залились, Григорий (камердинер, разиня и лежебок) зашлёпал по лужам с фонарём.

Через минуту дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился гость. Шинель мокрая, шуба медвежья, на голове — картуз, с которого вода течёт ручьями. С виду — человек средних лет, не толст и не тонок, лицо приятное, но какое-то скользкое, если приглядеться. Глаза живые, всё осматривают, всё примечают. Улыбка готовая, но не широкая, не искренняя, а так — на положенное число зубов.

Гость стряхнул с себя воду, как большая птица, поклонился и заговорил голосом, который, казалось, был смазан маслом:

— Позвольте представиться. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Проездом в здешних краях по казённой надобности. Сломал колесо в двух верстах от вашей усадьбы. Погода, сами видите, не райская. Позвольте отдохнуть до утра и, если позволите, воспользоваться вашим плотником — рассказывают, у вас, Андрей Иванович, такие мастера, что в Петербурге не сыщешь.

Тентетников хотел было сказать, что плотник у него один — пьяница, а второй — лентяй, а третий — давно сбежал. Хотел сказать, что колесо чинить нечем и что вообще не стоит ждать здесь никакой помощи. Но что-то в голосе Чичикова, в этой его манере говорить — будто он и так свой, будто он уже здесь живёт, — сломало его обычную хмурость.

— Милости прошу, Павел Иванович, — сказал он, поднимаясь с кресла. — Я здесь один, скучаю. Ваше общество будет мне в радость.

Чичиков ещё раз поклонился — и в этом поклоне было ровно столько почтительности, сколько нужно, чтобы не унизиться, и столько достоинства, сколько нужно, чтобы не показаться гордецом.

— Весьма признателен, Андрей Иванович. Обещаю не докучать.

Он снял мокрую шинель, аккуратно повесил её на гвоздь — не как попало, а складка к складке, — и проследовал за хозяином в гостиную, где на столе уже дымился самовар, а Григорий, проснувшись от неожиданного стука, ставил чашки.

Так вошёл Чичиков в дом к Тентетникову. И кто знает, что из этого выйдет? Сам Андрей Иванович, провожая гостя к умывальнику, вдруг поймал себя на мысли, что сегодня ему впервые за долгие месяцы не хочется лечь спать сразу после чая. А хочется поговорить.

Странное дело — иногда одного живого голоса довольно, чтобы вытащить человека из той чёрной ямы, куда он сам себя загнал. Или, наоборот, затащить ещё глубже — это уж как повезёт с гостем.

Глава вторая

В которой Павел Иванович Чичиков осваивается в доме Тентетникова, пьёт чай, разговаривает о пустяках и незаметно для хозяина узнаёт всё, что ему нужно

Утро выдалось серое, с мелким дождём, который, казалось, и не собирался прекращаться. Чичиков, проснувшись, первым делом подошёл к окну, поглядел на бричку, стоявшую у сарая, и с удовлетворением отметил, что колесо, слава богу, было уже снято, а Тихон-плотник, красномордый мужик в рваном тулупе, копался возле него с таким видом, будто делал это всю жизнь и ещё столько же делать собирался.

«Не спешит, каналья, — подумал Павел Иванович. — Ну да ничего. За день управится. А я пока погляжу, что здесь за человек этот Тентетников».

Одевшись со свойственной ему аккуратностью — фрак, правда, был уже не тот, что в первом томе, а поскромнее, дорожный, но всё же приличный, — Чичиков вышел к чаю.

Тентетников сидел в том же халате, в каком Чичиков оставил его вчера. Халат был теперь застёгнут на все пуговицы, волосы приглажены, но в глазе по-прежнему светилась та ленивая покорность судьбе, которая так поразила Павла Ивановича при первой встрече.

— Извините, Андрей Иванович, что побеспокоил вас с самого утра, — начал Чичиков, усаживаясь к столу. — Я человек привычный — встаю рано. Дорога, знаете, не велит нежиться.

— Да я и сам уже не сплю, — ответил Тентетников с лёгкой усмешкой. — Григорий! Подавай-ка самовар.

Чай разливался неторопливо. Беседа тоже текла неторопливо — о погоде, о дорогах, о том, что в нынешнем году сено в этих местах уродилось на славу, а овёс, напротив, подвёл. Чичиков поддакивал, вздыхал в нужных местах и внимательно слушал. Тентетников, которому давно не с кем было перекинуться словом, говорил охотно — даже о том, о чём, казалось бы, и говорить не стоило.

— А вы, Андрей Иванович, я слышал, в Петербурге воспитывались? — спросил Чичиков после третьей чашки.

Тентетников помолчал. Взял сухарик. Положил обратно.

— Учился в пансионе, — сказал он. — Сначала хорошо. Директор у нас был — Александр Петрович. Вы не слышали о нём, наверное. Редкой души человек. Не учил — вдохновлял. Бывало, скажет: «Помните, господа, вы не просто дворяне, вы — надежда России». И верилось.

Глаза его на мгновение ожили.

— А потом он ушёл. Или его ушли — не знаю. Прислали нового — Фёдора Ивановича. Тот учил по-другому. Всё по уставу, по циркулярам. Одна форма, никакой души. Я тогда... — он запнулся. — Я тогда впервые понял, что человек зависит не от себя, а от того, кто над ним поставлен.

Чичиков понимающе кивнул. Очень даже понимающе.

— Знакомая история, — сказал он. — Я на таможне служил — то же самое. Хороший начальник — рай. Плохой — каторга. А ведь спрашивают-то с тебя, а не с него.

— Вот-вот! — Тентетников оживился. — Именно! Я когда в отставку подал, думал: уеду в деревню, здесь я сам себе начальник. Ан нет. И здесь начальники есть. Бурмистр, например. Управляющий. Соседи.

Он махнул рукой.

— А вы, Павел Иванович, в Петербурге давно не были?

— Давненько, — уклончиво ответил Чичиков. — Всё в разъездах. То одно дело, то другое.

— По казённой надобности, говорили вчера?

— По казённой, — подтвердил Чичиков, помедлив. — И по частной тоже. Свои делишки, понимаете, тоже надо знать.

Он не стал развивать тему. До поры.

Чай кончился. Самовар унесли. Чичиков, пользуясь тем, что дождь на время прекратился, попросил позволения пройтись по усадьбе. Тентетников вызвался проводить.

Хозяйство, надо сказать, представляло собой печальное зрелище. Амбары стояли полупустые, крыши кое-где прохудились, мужики, встретившиеся на дороге, кланялись вяло, без той бойкости, какая бывает у хорошего барина. Чичиков всё примечал, всё заносил в свою мысленную бухгалтерскую книгу: «Порядку нет. Доверяет не тем. Бурмистр — жулик, сразу видно. Сам — ленив. Но не глуп. С таким можно — если не напрямую, то через что-нибудь».

Вслух же он говорил:

— У вас чудесные места, Андрей Иванович. Земля, я гляжу, добрая. Лес какой — загляденье. Если бы к этому хозяйскую руку приложить — цены бы не было.

Тентетников вздохнул.

— Знаю. Мне и Костанжогло, сосед, то же говорит. И Петух — тот, правда, не о хозяйстве, а об обедах. А я...

Он не договорил.

Вернулись к обеду. Обед подали незатейливый — щи, каша, кусок варёной говядины. Но Чичиков ел с аппетитом, нахваливал, и Тентетников, глядя на него, впервые за долгое время сам съел больше обычного.

После обеда разговорились снова. На этот раз о соседях.

— Удивительные люди вокруг, — говорил Тентетников, помешивая пустой чай (четвёртый уже). — Есть Пётр Петрович Петух. Тот только и делает, что ест. Сам стряпать любит. У него обед — целое представление. Приедете — не пожалеете.

— Обязательно, — сказал Чичиков, мысленно прикидывая: «Обжора — значит, транжира. Спросить бы у него про души... но не сейчас, не сейчас».

— Есть полковник Кошкарёв, — продолжал Тентетников. — Тот, напротив, совсем не ест — бумаги жуёт. У него в имении департаменты, комитеты, канцелярия. Крестьяне рапорты пишут вместо того, чтобы пахать. Страшно подумать.

— Любопытно, — заметил Чичиков. — Смею сказать, даже очень любопытно.

— А есть Хлобуев. Тот всё промотал. Умный, талантливый — и всё спустил. Имение заложено, перезаложено. Живёт как вчерашний день. А рядом с ним — Костанжогло. Грек. Хозяин образцовый. У того всё — до последней щепки — в деле. Золото, а не мужик. Только злой. Он всех ленивых не терпит. И меня, вероятно, тоже.

В голосе Тентетникова не было обиды. Была только усталость.

— А генерал Бетрищев? — спросил Чичиков как бы невзначай.

Тентетников помрачнел.

— Генерал — человек важный. Я у него бывал... раньше. Сейчас — нет. Обиделся.

— На что же?

Тентетников рассказал. Коротко, но со вкусом — про разговор о французских агрономах, про генеральскую обидчивость. И про Улиньку — не сказал ничего, но Чичиков, человек

бывалый, уловил в его голосе ту особую ноту, которая бывает у молодого человека, когда он говорит о том, о чём лучше бы промолчать.

«Ага, — подумал Павел Иванович. — Вот оно что. Значит, девушка. И генерал не пускает. Или сам не идёт. Исто-о-ория».

Вслух же он сказал:

— Слышал я о генерале Бетрищеве. Много хорошего слышал. Человек заслуженный, благородный. Непременно хочу засвидетельствовать ему почтение.

Тентетников промолчал.

— Может быть, вы, Андрей Иванович, составите мне компанию?

Тентетников помедлил. Потом покачал головой.

— Нет, Павел Иванович. Не поеду. Он меня не примет. А если и примет — неловко будет. Мы с ним... разошлись.

Чичиков не настаивал. Но про себя решил твёрдо: завтра же с утра — к генералу. Один. А Тентетников пусть остаётся. Может быть, даже к лучшему — без хозяина разговор с генералом будет вольнее.

К вечеру дождь кончился. Небо очистилось, выглянуло солнце — такое бледное, осеннее, но всё же солнце. Чичиков стоял у окна, смотрел на мокрые поля и думал.

«Сначала генерал. Потом — Петух. Потом — Кошкарёв. Потом — этот грек, Костанжогло. А там видно будет. Мёртвые души — они везде есть, только подойти уметь надо».

Он зевнул, перекрестил рот и пошёл спать.

А Тентетников сидел у камина. И впервые за долгое время его мысли были не о том, как он никчёмно прожил жизнь, а о том, что завтра его гость поедет к генералу Бетрищеву. И кто знает — может быть, он увидит Улиньку. Передаст привет. Или нет. Зачем передавать? Всё равно ничего не будет.

Но что-то в груди у Андрея Ивановича заныло. То ли от сырости осенней, то ли от чего-то другого.

Глава третья
В которой Павел Иванович Чичиков
является к генералу Бетрищеву,
говорит не то, что хотел, и знакомится
с существом, которое осветило
мраморную залу лучие всяких люстр

Добрые кони Селифана, который, надо отдать ему справедливость, в последнее время сделался как-то степеннее и на поворотах не заваливался, как прежде, пронесли Чичикова чрез десятиверстное пространство в полчаса с небольшим. Сначала дорога шла дубровою — голою, осеннюю, но всё ещё величавою; потом хлебами, давно уже сжатыми, где только торчали жёлтые щётки стерни; потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на далёкие деревни, на облетевшие рощи, на серые ленты рек, извивавшихся меж холмов. И наконец — широкою аллеєю раскидистых лип, которые уже почти совсем оголились и стояли чёрными кружевными решётками на бледном небе.

Чичиков глядел по сторонам с тем особенным вниманием, какое бывает у человека, приехавшего по важному делу и ещё не знающего, как его начнёшь. Мысленно он перебирал свои прежние опыты — у Манилова, у Коробочки, у Собакевича, у Ноздрёва. Но тут всё было иначе. Генерал — не помещик-чудак. С генералом нужен особый разговор. «Главное — лесть, — думал Павел Иванович, поглаживая подбородок. — Лесть самая тонкая, но не приторная. Генералы этого не любят. Они любят, чтобы им говорили правду, но правду такую, которая похожа на лесть. И ещё — про двенадцатый год. Все они двенадцатым годом дышат. Если про двенадцатый год сказать — попадёшь в самое сердце».

Аллея лип кончилась. Вместо них потянулись тополя, огороженные снизу плетёными коробками, чтобы скотина не объедала коры, и всё это упёрлось в чугунные сквозные ворота — такие узорные, что сквозь них, как сквозь паутину, был виден кудряво-великолепный фронтон генеральского дома. Дом стоял на восьми колоннах с коринфскими капителями — то есть с такими резными листиками наверху, которые даже и в Петербурге не всякий архитектор сумеет сделать. Всё вокруг пахло мысляной краской, и было видно, что генерал из тех хозяев, которые каждую весну велят подновлять, красить, белить, ничему не давая состариться.

Двор был чист, как паркет. Чичиков даже оглянулся на свои сапоги — не наследил бы.

— Хорошо живёт, — прошептал он, соскакивая с брички. — Очень хорошо. С таким и дела иметь приятно.

На крыльце его встретил камердинер — не какой-нибудь Петрушка в нечищенных сапогах, а человек высокий, в сюртуке с позолоченными пуговицами, с лицом таким важным, что любой губернский предводитель позавидовал бы. Чичиков оробел — того и гляди, спросит бумаги какие-нибудь или рекомендательные письма. Но камердинер молча поклонился, принял шинель и повёл гостя в кабинет.

Генерал Бетрищев сидел в атласном малиновом халате. Да не просто сидел — восседал. Это было не кресло, а трон, хотя и обитый простым сафьяном. Сам же генерал поражал величием: лицо мужественное, открытый взгляд, большие усы с проседью и такие же бакенбарды, стрижка на затылке низкая, под гребёнку, а шея — толстая, широкая, называемая в три этажа, то есть три складки с трещиной поперек.

«Как бишь его? — подумал Чичиков, пятась в поклоне. — Ах да, двенадцатый год. Он из тех, которые двенадцатый год нюхали».

И, наклоня голову набок, расставив руки на отлёт, словно собирался приподнять поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом — ни дать ни взять чиновник, который подаёт прошение самому государю, — и произнёс:

— Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уважение к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству.

Генерал, которому явно понравился такой приступ, сделал милостивое движение головой. Это движение было так величественно, что Чичикову захотелось сделать шаг назад, но он удержался.

— Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?

Чичиков сел в кресло — не посередине, чтобы не показаться нахальным, и не у края, чтобы не показаться робким, а так, чуть наискось, ухватившись рукой за ручку, что придавало ему вид человека основательного, привыкшего к присутствию.

— Поприще службы моей, — начал он плавно, — началось в казённой палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же течение оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпении, можно сказать, вырос, терпением воспоен, терпением спелёнат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпение. А уж сколько претерпел от врагов — так ни слова, ни кисти, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провести остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства...

— У кого это? — спросил генерал, и бровь его чуть дрогнула.

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Имя это произвело действие. Генерал поморщился — не то чтобы сердито, но так, как морщатся от кислого чаю, которого не ждали.

— Тентетников? — переспросил он. — Ах да, сосед. Что ж он?

Чичиков мгновенно оценил положение. Тентетников сам говорил ему о размолвке. Значит, нужно не защищать, а оправдывать. Нужно, чтобы генерал почувствовал себя великодушным.

— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается, — сказал Чичиков, понизив голос до доверительного полупшепота. — Весьма. В том, что не оказал должного уважения... к заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: «Если бы я только мог чему-нибудь... потому что точно, — говорит, — умею ценить мужей, спасавших отечество».

Генерал смягчился. Это было видно по тому, как усы его перестали топорщиться и легли ровно, будто приглаженные.

— Помилуйте, что ж он? — сказал генерал, и голос его из басовитого сделался почти отеческим. — Да я ведь не сержусь. В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что современем он будет преполезный человек.

— Совершенно справедливо изволили выразить, ваше превосходительство, — подхватил Чичиков. — Истинно преполезный человек. Может побеждать даром слова и владеет пером.

— Но пишет, я чай, пустяки какие-нибудь? Стишки? — спросил генерал с лёгкой усмешкой.

Тут-то Чичиков и попался.

Почему — он и сам не мог бы объяснить. То ли оттого, что генерал смотрел на него так открыто, то ли от желания придать своему соседу побольше весу в глазах важного человека, то ли просто язык, как это часто бывало с Павлом Ивановичем в минуты волнения, забежал вперёд разума. Но он сказал:

— Нет, ваше превосходительство, не пустяки... Он что-то дельное пишет... историю, ваше превосходительство.

Генерал поднял бровь. Усы снова топорщились — теперь уже от любопытства.

— Историю? О чём историю?

Чичиков запнулся. Но отступать было поздно. И, чтобы придать предмету побольше важности — потому что перед ним сидел генерал, — он брякнул:

— Историю о генералах, ваше превосходительство.

— Как о генералах? О каких генералах?

— Вообще о генералах, ваше превосходительство. В общности. То есть, говоря собственно, об отечественных генералах.

Сказав это, Чичиков чуть не плюнул сам в себя. «Господи, — подумал он, — что за вздор такой несу! Какая история о генералах? Что я, с ума сошёл?»

Генерал же, напротив, заинтересовался. Он даже подался вперёд, и халат его собрался в тяжёлые складки, похожие на мундирные.

— Извините, я не очень понимаю... Что ж это выходит? Историю какого-нибудь времени или отдельные биографии? И притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом году? — спросил генерал, и в голосе его прозвучало то особенное, живое любопытство, которое бывает у ветеранов, когда речь заходит об их молодости.

— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году, — выпалил Чичиков, а сам подумал: «Хоть убей, не понимаю, что говорю».

— Так что ж он ко мне не приедет? — сказал генерал, и лицо его приняло даже оттенок обиды. — Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.

— Робеет, ваше превосходительство, — нашёлся Чичиков. — Весьма робеет.

— Какой вздор! Из-за какого-нибудь пустого слова. Что между нами произошло? Да я совсем не такой человек, — генерал даже рукой махнул, показывая, как он далёк от злопамятства. — Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.

— Он к тому не допустит, он сам приедет, — поспешно сказал Чичиков.

И подумал в себе: «Слава богу, выкрутился. А история с генералами — потом как-нибудь само собой рассосётся. Главное, что генерал смягчился».

Он уже хотел было перейти к делу — к той осторожной, обтекаемой речи, в которой намеревался закинуть удочку насчёт ревизских душ. Но в эту самую минуту в кабинете послышался шорох.

Тихий, лёгкий шорох, будто мышь пробежала по паркету. Чичиков обернулся.

Ореховая дверь резного шкафа, который он принял было за обыкновенную мебель, отворилась сама собой. И на отворившейся обратной половине её, ухватившись рукой за медную ручку замка, явилась фигурка.

Такой встречи Чичиков не ожидал.

Если бы в тёмной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещённая сзади лампой, и та бы не поразила так, как это живое, светящееся изнутри создание. Девушка — нет, не девушка, а почти ещё дитя, хотя и с тем особенным выражением в лице, которое бывает у тех, кто рано начал думать. Тоненькая, светленькая, с русой косой, уложенной вокруг головы, в простом белом платье с голубой ленточкой. Глаза серые, большие, глядящие прямо и смело — так, что Чичикову на мгновение стало не по себе, будто его заглянули в самую душу и увидели там всё, что он прятал.

— Уленька! — сказал генерал, и голос его из властного превратился в нежный, почти виноватый. — Ты зачем?

— Я за книгой, папенька, — ответила она голосом чистым и звонким, как ручей, который пробился из-под льда. — Ты сказал, что я могу взять любую.

Она сделала шаг из-за шкафа — и Чичиков увидел, что в руках у неё уже была книга. Старинная, в кожаном переплёте, с медными застёжками.

— Книги? — переспросил генерал, и в голосе его послышалось что-то похожее на виноватость. — Ах да, книги... Но ты погоди, Уленька, у нас гость. Павел Иванович, рекомендую: дочь моя, Ульяна Михайловна.

Улинька — он назвал её так, будто сам не заметил, что сказал уменьшительное имя, — сделала лёгкое, но не жеманное приседание. Чичиков поклонился с той особенной утончённостью, которую он приберёт бы для графини, если бы когда-нибудь с графиней обедал.

— Очень приятно, — сказал он. — Очень, очень приятно. Я уже наслышан о вас, Ульяна Михайловна.

— От кого же? — спросила она просто, безо всякого кокетства.

Чичиков запнулся. Сказать «от Тентетникова» было бы неосторожно — генерал хоть и смягчился, но мало ли что. Сказать «от других» — неправда. Он что-то промычал и перевёл разговор на книгу.

— По-французски изволите читать? — спросил он, разглядев корешок.

— По-русски, — ответила Улинька. — Здесь, у папеньки в библиотеке, много русских книг. Только они всё больше военные. А мне бы хотелось...

Она не договорила. Потому что генерал вдруг поднялся с кресла — поднялся с той лёгкостью, какой от его комплекции никак нельзя было ожидать, — и взял дочь за плечи.

— Ступай, Уленька, — сказал он. — Мы с гостем поговорим. После обеда увидимся.

Она послушно кивнула — но прежде, чем уйти, взглянула на Чичикова ещё раз. Взглянула пристально, как будто спрашивая: «А что вы на самом деле здесь делаете?» И исчезла так же бесшумно, как и появилась.

Чичиков вытер лоб платком. «Ну и ну, — подумал он. — Вот это девица. Умница. И хороша — не то чтобы ярко, не то чтобы броско, а так, что глаз не оторвать. И этот взгляд... Он, кажется, видит насквозь».

Однако дело есть дело. И Чичиков, собравшись с духом, начал осторожно подводить разговор к тому, ради чего он, собственно, и приехал. Не напрямую, конечно. Сначала — о хозяйстве, о порядке, какой наблюдается у генерала. Потом — о том, что в нынешнее время всякий помещик должен быть осторожен, потому что ревизия не за горами. Потом — о том, что бывают такие неприятные случаи, когда души числятся, а людей нет, и это доставляет большие хлопоты.

Генерал слушал, кивал, но как-то рассеян. Он то и дело поглядывал на дверь, за которой скрылась Улинька, и мысли его, кажется, были далеко.

— Вы, Павел Иванович, — вдруг прервал он Чичикова на полуслове, — у Тентетникова остановились?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Как он? Я его давно не видел. Всё в халате? Всё в мечтах?

Чичиков не знал, что ответить. Правду? Не совсем. Ложь? А зачем?

— Он, ваше превосходительство, человек благородный, — сказал он уклончиво. — Немного меланхоличен, но с душой. С очень даже широкой душой.

Генерал вздохнул. Вздох у него был такой, что если бы Чичиков не знал, что этот человек командовал полком в двенадцатом году, он бы подумал, что генерал тоскует по чему-то утраченному.

— Широкая душа, — повторил генерал. — У нас, у русских, она всегда широкая. В том-то и беда. Во Франции, знаете ли, душа узкая, но аккуратная. В Германии — толстая, но основательная. А у нас — широкая. И не знаешь, куда её девать.

Он помолчал. Чичиков молчал тоже, боясь нарушить это странное, не генеральское раздумье.

— Знаете что, Павел Иванович, — сказал наконец генерал. — Оставайтесь-ка вы обедать. А после обеда — я в шахматы играю. Вы играете?

— Немного, ваше превосходительство, — скромно ответил Чичиков. — Умею, но не более того.

— Вот и отлично. А то мой партнёр, испанец, — генерал махнул рукой куда-то в сторону, — такой молчальник, что тоска. Вы хоть словом перекинетесь.

Чичиков поклонился. И подумал: «Обед — это хорошо. За обедом разговор вольнее. Может быть, и дело сладится».

Обед подали в большой столовой с колоннами. Стол был накрыт на шесть приборов, хотя едоков набралось меньше. Генерал — во главе. Чичиков — по правую руку, что было знаком особой милости. По левую — какая-то англичанка, гувернантка, бледная и скучная, с глазами навывкате. Рядом с ней — молчаливый испанец, которого генерал, смеясь, называл «мой Эскадрон». Улинька сидела напротив, между англичанкой и кем-то ещё, и Чичиков время от времени ловил на себе её внимательный взгляд.

Обед был обильный. Генерал, как человек военный, любил покушать основательно. Сначала подали суп с потрохами — наваристый, янтарный, от которого пар шёл столбом. Потом — расстегаи с сигом. Потом — поросёнка с хреном. Потом — индейку, фаршированную каштанами. Чичиков ел, нахваливал, но не слишком усердствовал — помнил, что он при деньгах и при положении.

Зато испанец — тот ел как зверь. Глаза его, обычно тусклые и равнодушные, загорались всякий раз, когда вносили новое блюдо. Он следил за лучшим куском, не спуская с него глаз, пока блюдо обходило круг стола, и если кусок попадал не к нему — испанец провожал его долгим, скорбным взглядом.

— Вы, Павел Иванович, — сказал генерал, жуя индейку, — говорили о ревизии. Что-то я не совсем понял. Вы, кажется, упомянули, что бывают души, которые числятся, а людей нет?

Чичиков поперхнулся. Но тут же взял себя в руки.

— Это я так, ваше превосходительство, — сказал он, — в порядке общих рассуждений. К слову пришлось. У нас, знаете, в провинции, много беспорядка. Случается, мужик умер, а помещик его не вычеркнул — то ли по лености, то ли по незнанию.

— Непорядок, — строго сказал генерал. — Этого не должно быть. Я, например, все свои ревизские сказки веду в строгости. У меня каждая душа на счету.

— В том-то и дело, ваше превосходительство, что не все помещики такие рачительные, как вы, — с лёгким поклоном сказал Чичиков. — Иной и рад бы, да не умеет. А иной — умеет, да не хочет. Я же, будучи при особом ведомстве, имею поручение... э-э-э... сверять.

Генерал кивнул. Кажется, он поверил. А может быть, ему просто нравился этот ловкий, учтивый человек, который умел и похвалить, и к месту промолчать.

Улинька за весь обед проговорила мало. Только раз спросила Чичикова:

— Вы давно видели Андрея Ивановича?

— Кого? — переспросил Чичиков, хотя отлично понял.

— Тентетникова, — сказала Улинька, и щёки её чуть порозовели.

— Вчера, — ответил Чичиков. — И сегодня утром. Мы с ним чай пили.

— Как он? — спросила она, и в голосе её послышалось что-то — не то надежда, не то беспокойство.

— Он... здоров, — сказал Чичиков, подбирая слова. — И, смею заметить, много думает о вас. — А вы, Павел Иванович, — вдруг сказала Улинька, глядя прямо в глаза, — вы, верно, слышали, что я выхожу замуж?

Чичиков растерялся. — Слышал кое-что, — ответил он осторожно.

— Слухи, — усмехнулась Улинька. — Был один гвардеец, сватался. Я отказала. Папенька расстроился, но я не могу выйти за того, кого не люблю. И потом... — она запнулась.

— Что потом? — спросил Чичиков.

— Я думаю, Андрей Иванович... Он меня вовсе забыл, — сказала она тихо. — А я всё жду. Чичиков хотел что-то сказать, но генерал кашлянул. Негромко, но внушительно. И разговор тотчас перешёл на другое.

После обеда, как и было обещано, — шахматы. Генерал играл с испанцем партию, и Чичиков смотрел, прихлёбывая чай из тонкого фарфорового стакана. Испанец играл молча, делал ходы твёрдой рукой и не обращал внимания на генеральскую болтовню.

— Эх, — говорил генерал, двигая ферзя куда-то не туда. — Полюби нас беленькими...

— Черненькими, ваше превосходительство, — поправил его испанец без всякого выражения.

— Ах да! — засмеялся генерал. — Полюби нас черненькими, а беленькими нас сам господь бог полюбит.

Через пять минут он снова ошибся:

— Полюби нас беленькими...

— Черненькими, ваше превосходительство, — теперь уже сказал Чичиков.

— Да-да, черненькими, — охотно поправился генерал.

Испанец выиграл. Генерал не огорчился.

— А теперь, Павел Иванович, — сказал он, — сыграем с вами. Говорите, умеете немного? Посмотрим.

Чичиков сел за доску. И тут он показал себя. Играл он хорошо — ловко, с выдумкой, но без излишней напористости. Он делал ходы сильные, затруднял генерала, заставлял его думать — и в самом конце, когда генерал уже вспотел и начал терять терпение, Чичиков вдруг сделал глупый ход, отдал ферзя и проиграл.

Генерал аж просиял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.